

Подходы к изучению эго-документов в совре- менной исторической науке в свете «лингвистического поворота»

В развитии мировой исторической науки существенную роль сыграл т.н. «лингвистический поворот», суть которого состоит в применении методов науки о языке и литературе к историческим исследованиям. Он традиционно связывается с работами Х. Уайта, который в книге «Метаистория» ([White 1973], русский перевод — [Уайт 2002]) выдвинул глубоко новаторскую для того времени идею о любых формах историописания (в том числе научного) как прежде всего литературных. Его идеи, постмодернистские по сути, были сосредоточены на структуре исторического текста, который он исследовал с точки зрения формы репрезентации, теории нарратива, используя термины *поэтика* и *риторика*.

Подчеркнем, что работы Х. Уайта, переведенные в том числе и на польский язык [White 2009; 2010], оказались востребованы не потому, что предлагали некую частную методологическую новацию. Его любимая идея — анализ исторических текстов сквозь призму системы тропов («Я считаю, что к историописанию лучше всего походить таким образом, чтобы в наибольшей степени вывести на поверхность его литературный аспект <...>». Соответствующий инструмент содержит языкознание, а именно — тропологию, понимаемую как

литературную и семиотическую теорию фигур речи и дискурсивной нарративизации» [White 2009: 109]) — казалась многим ученым спорной и экзотической. Имя Уайта прославилось среди историков благодаря тому, что его труды знаменовали собой эпохальную смену парадигмы исторической науки в целом. В чем-то чересчур радикальные (Уайт не делал различия между научными, эго-ориентированными и художественными формами историописания), его идеи неоднократно подвергались критике — в том числе последователями его основного призыва: переключиться на изучение «языка истории», подходить к любому историческому тексту (созданному ли в изучаемую эпоху и традиционно квалифицируемому как «источник» сведений о ней, относимому ли к жанру историографии) как к конструкту и объекту литературного анализа.

Сегодня «лингвистический поворот» — это общее понятие, применяемое к развитию совокупности гуманитарных наук, в частности к философии, социологии XX века, и связанное с переосмыслением в них роли языка, а в конечном итоге — с антропологизацией науки. В историческом познании «Лингвистический поворот связан с осознанием решающей роли языка в производстве исторического дискурса как нарратива и интерпретацией исторических знаний как речевых и литературных феноменов. Главным следствием лингвистического поворота в историческом познании стало признание невозможности прямого доступа к прошлому, поскольку представленная в различных вариантах языковой репрезентации, историческая реальность всегда оказывается уже предварительно истолкованной. На этом основании был сделан вывод о том, что если любому пониманию прошлого предшествует формирующее влияние языка, то неизбежна множественность исторических реальностей как языковых игр...». Лингвистический поворот иначе обозначается как «культурный поворот в историческом познании,

т.е. стремление изучать историческую реальность как культуру и через культуру» [Лубский 2014: 245–247].

Наряду с Х. Уайтом, который утверждал, что «прошрое — это территория фантазии», среди основоположников «лингвистического поворота» можно назвать Ф. Анкерсмита, П. Рикёра, Г. Иггерса, А. Данто, Х. Келлнера, С. Бенна и др. Идеи «лингвистического поворота» дали толчок целым направлениям западной исторической науки, таким как «новая культурная» и «интеллектуальная» история. При этом важными для западных приверженцев «лингвистического поворота», наметившегося в смешанном сообществе литературоведов, историков и философов культуры, были идеи российских филологов М.М. Бахтина, Р.О. Якобсона, В.Я. Проппа, Ю.М. Лотмана.

В современной отечественной исторической науке изучают и развивают это направление Л.П. Репина и ее школа [Репина 1999; 2001; 2009; 2011]. Л.П. Репина взяла на себя чрезвычайно важную функцию и предприняла титанический труд по изучению основных течений европейской историографии и их адаптации на отечественной почве (среди работ этого выдающегося российского историка и ее коллектива — монографии, демонстрирующие смены парадигм и методологических направлений мировой исторической науки на рубеже XX–XXI вв., и издание Центром интеллектуальной истории ИВИ РАН с 1998 г. по настоящее время альманаха «Диалог со временем»). В своих работах Л.П. Репина делает акцент на важнейшей тенденции современной исторической науки — преодолении противопоставления между индивидуальным и социальным, разбирает и систематизирует разнообразные западные подходы к изучению истории, не всегда с ними соглашаясь. Интерес к проблемам «лингвистического поворота» (направлению, которое на Западе уже давно не относится к новаторским) в России возрос в последние годы также в связи с появлением большого числа переводных работ, в том числе интервью с выдающими-

ся западными учеными (см., например, [Доманска 2010; Рикёр 2004; Мегилл 2010; Бенн 2011]) и даже учебника, посвященного рассматриваемой методологии истории [Потапова 2015].

Тем не менее, несмотря на адаптацию новых концептов, мировое и отечественное сообщество историков неохотно воспринимает идеи постмодернизма, которые, по словам крупнейшего польского специалиста по методологии истории Е. Топольского, могут привести «к деконструкции того типа историографии, который доминировал столетия». Большинство из них придерживаются веры в объективную истину, постигаемую через исторические источники и их критику. «Исторический источник — это наиболее надежный путь к прошлому» — в этом уверен Е. Топольский, утверждавший также, что «историки не примут идею конца историописания, элиминацию из него темпоральной оси и уничтожение границ между историческим и литературным нарративом» [Доманска 2010: 177].

В данной статье, в форме краткого обзора, мы хотели бы продемонстрировать широкий спектр возможностей, открывшийся перед исторической наукой (преимущественно отечественной), на примере новых подходов к документам личного происхождения (мемуарам, дневникам, переписке и др.), иначе говоря, эго-документам. В последнее время это понятие прочно вошло в лексикон ученых-гуманитариев, однако в разных «цеховых» сообществах остается различное отношение к текстам этого рода и продолжают существовать разные алгоритмы обращения с ними. Различиями в интерпретации эго-документов характеризуются литературоведение, «классическая», т. е. не приемлющая постмодернистских новаций историография, и труды историков, исповедующих междисциплинарный подход, восходящий к синтезу истории и филологии.

До последнего времени историко-культурный анализ документов личного происхождения был преимущественно прерогативой литературоведов, ставящих во главу угла

понятие жанра. Отсюда растущий интерес этого профессионального сообщества к «литературе факта», «человеческого документа», «эго-текстам» (данное понятие в большей степени характерно для филологов и опирающихся на изучение структуры текста историков культуры, которые, однако не игнорируют и понятие «эго-документ»). Примером современных исследований могут служить работы М.Ю. Михеева [Михеев 2007], Л.А. Софроновой [Софронова 2014], цикл конференций Института русистики Варшавского университета «Эго-документ и литература» под руководством Л. Луцевич). В этом контексте нельзя не упомянуть одного из основоположников отечественной истории культуры Ю.М. Лотмана. Реконструируя мир русской духовной культуры XVIII–XIX вв. — будь то мировоззрение Н.М. Карамзина или культурный тип представителя эпохи декабристов — Ю.М. Лотман активно использовал корпус отечественного мемуарного и эпистолярного наследия, а также «паралитературные» жанры. При этом анализ подобных жанров (например, как это было с «Письмами русского путешественника» Н.М. Карамзина) строится на вычленении разных уровней текста («Текст, который читатель должен был воспринять как автобиографию, не был автобиографией <...>. Перед нами — художественное произведение, умело притворяющееся жизненным документом» [Лотман 1997: 217]), а также характеристик того типа информации, носителем которого данный текст служит («„Письма” являются весьма сомнительным источником для реконструкции реальных биографических обстоятельств пребывания Карамзина за границей, однако можно полагать, что для суждений о психологической реальности и о стиле поведения автора они дают обильный и достоверный материал» [Лотман, Успенский 1984: 486]).

Российских историков, для которых эпистолярное наследие, воспоминания, дневники были и остаются одним из наиболее значимых видов исторических источников,

можно условно поделить на «традиционалистов», подходящих к этому роду документов прежде всего с точки зрения критики и верификации их достоверности, и «новаторов». Классическими, например, являются работы историка-источниковеда А. Г. Тартаковского, посвященные преимущественно русской мемуаристике XVIII–XIX вв., в том числе мемуарам о войне 1812 г. [Тартаковский 1980; 1991; 1997; 1812 год 1990; Россия 2003], содержащие исчерпывающую библиографию, классификацию и обозначение историко-культурных проблем, которые возникают при их изучении, а также мемуарам российских эмигрантов после 1917 г. Хотя последние работы Тартаковского датированы концом 1990-х гг., его, безусловно, можно считать представителем науки старой школы. С одной стороны, он исследует мемуаристику как «самостоятельное явление духовной культуры», широко используя работы и выводы литературоведов, посвященные этому жанру (это даже дало повод А. В. Антюхову в диссертационном исследовании по литературоведению причислить Тартаковского к представителям этой специальности и рассматривать работы в контексте других, посвященных «поэтике и жанру» мемуарной прозы). Несомненен его вклад в постановку самого вопроса о типологии жанра (в связи с историческими исследованиями) и признание подобного рода источников аутентичными относительно эпохи создания. Тартаковский не был согласен с господствовавшим в его время подходом, понижающим мемуары из-за заведомо субъективного отражения в них реальности в ранг источников «второстепенных, дополнительных». Он возражал, в частности, П. А. Зайончковскому, напротив, утверждавшему, что ценность мемуаров заключается лишь в изложении фактов, а не в оценке их, которая почти всегда субъективна, и пренебрегавшему богатством их иных информационных возможностей. «Согласно этому взгляду, — писал Тартаковский, — субъективность мемуаров, — имманентное их свойство — вообще лишена какой-

либо ценности. Более того, в ряде работ она квалифицируется как заведомый „недостаток”, который непременно надо „снять”, преодолеть, нейтрализовать». С другой стороны, он был против «искусственного противопоставления мемуаров как литературных произведений мемуарам как историческим источникам, „гипертрофии” литературоведческого подхода, рассмотрения мемуаров преимущественно „в системе эстетических категорий”». По мнению Тартаковского, «узколитературоведческое рассмотрение мемуаристики в русле сугубо литературного творчества обедняет и затушевывает понимание истинной природы мемуарного жанра» [Тартаковский 1980: 4, 8–9, 31–32].

Безусловно, и сегодня среди историков преобладает модель использования эго-документов лишь как источников фактической информации. При работе с ними акцент делается на их критике, оценке степени достоверности излагаемых фактов, а также общественной или политической позиции авторов, их осведомленности в подробностях описываемого и степени ретроспективности текстов относительно освещаемых событий. Так, например, на страницах ведущего отечественного исторического журнала «Родина» Д. Андреев вскользь, как о само собой разумеющемся, пишет о «главном критерии оценки любых воспоминаний — об их соответствии не субъективному восприятию прошлого, а тому, что было на самом деле» [Андреев 2014: 142]. Однако существует и противоположная точка зрения, остроумно выраженная историком театра и кино В. Вульфom в предисловии к книге своих воспоминаний, о которых он пишет: «Их познавательное значение в том, что они обезоруживающе откровенны и крайне субъективны, что не приводит к нарушению исторической правды, а, наоборот, дает представление о многих периодах жизни, начиная с конца 30-х годов двадцатого века до нынешних дней» [Вульф 2003: 1]. Парадоксальное по форме, но точное по содержанию, это суждение В. Вульфа демонстрирует самостоятельную ценность индивиду-

ального восприятия истории, ее течения, пропущенного через личный опыт.

Новые вызовы, актуальные для современной исторической науки, ставят в центр внимания проблему человека в истории, в частности изучение исторической психологии, исторической памяти, исторической семантики и т. д. В той истории, в фокусе которой находится человек, его Я, а значит, востребована лингвистическая методология, субъективность не является помехой. Напротив, «недавнее появление в словаре ученых-гуманитариев в целом и историков в частности так наз. эго-терминологии», которое подчеркивает, в частности, Н. В. Суржикова [Суржикова 2014: 6], связано с переоценкой самого представления о субъективности, которая ранее воспринималась историками как изъян. По словам Л. П. Репиной, «Субъективность, через которую проходит и которой оглядывается соответствующая информация, отражает культурно-историческую специфику своего времени; представления, в большей или меньшей степени характерные для некой социальной группы или для общества в целом. Таким образом, текст, который „искажает информацию о действительности“, не перестает быть историческим источником, даже когда проблема интерпретации источников осознается как проблема интерпретации интерпретаций» [Репина 2011: 396]. Неслучайно и появление в 2009–2010 гг. коллективных трудов под ред. Ю. П. Зарецкого, вышедших под серийным заголовком «История субъективности» [История субъективности 2009; 2010].

В среде отечественных историков все прочнее закрепляется понятие *эго-документ* (взаимозаменяемое с понятием *документ личного происхождения*). Ю. П. Зарецкий обратил внимание на историю вхождения в обиход этого термина в разных европейских странах. По его словам, «в конце 1970-х гг. появилась потребность в новых маркерах, во-первых, более точно отражающих специфический исторический (т. е., прежде всего, отличный от литерату-

роведческого) подход к изучаемым текстам и, во-вторых, яснее обозначающий определенный тип документов как некое смысловое целое» [Зарецкий 2008]. Эта потребность была связана и с необходимостью ввести единое обозначение для различных жанровых форм разных эпох — как воспоминаний и дневников Нового времени, так и, например, средневековых исповедей, наставлений, мистических откровений, хроник собственной жизни, а также сходных по смысловой направленности ренессансных и даже античных текстов. В отечественной историографии важную роль в изучении проблемы индивида в средневековой истории сыграли работы А.Я. Гуревича, использовавшего исповеди, биографии и другие жанры средневекового письменного наследия, которые он — в отличие от художественной литературы — определял как «более непосредственное воплощение общественного сознания, впитавшее в себя человеческую ментальность» [Гуревич 1989: 15].

Понятие *эго-документ* родилось в Нидерландах, где это слово оказалось очень востребованным в 1980-е гг. Автором неологизма считается Жак Прессер, утверждавший, что эго-документы — это «те исторические источники, в которых исследователь сталкивается с Я <...> как с одновременно пишущим и присутствующим в тексте субъектом описания» (цит. по [Зарецкий 2008]). Данный термин распространен также, начиная с 1980–90-х гг., в англоязычной, германоязычной историографии и во франкоязычной истории литературы. В настоящее время во многих европейских странах ведутся масштабные исследовательские проекты по систематизации, классификации корпуса эго-документов и выявлению их потенциала в развитии гуманитарного знания.

В отечественной науке понятие *эго-документ* стало активно утверждаться в начале XXI столетия, причем не только в столичных научных центрах. Наряду с цитированными выше работами Ю.П. Зарецкого, сосредоточившегося как на теоретических аспектах истории

субъективности, так и на жанре автобиографии в разных культурах и эпохах [Зарецкий 2005; 2011; 2013; 2014], следует упомянуть коллективные труды Института истории и археологии Уральского отделения РАН под ред. Н. В. Суржиковой [История 2014; Россия 2015], а также международную научную конференцию «Эго-документальное наследие российской провинции XVIII–XXI вв.: Проблемы выявления, хранения, изучения, публикации» (Тверь) [Эго-документальное наследие 2014]. Эти труды и научные форумы намечают возможные, новаторские для отечественной исторической науки области исследований и исследовательские стратегии, связанные с введением в научный обиход новой терминологии.

Как считает Н. В. Суржикова, главным следствием изменения историографической ситуации в этой связи представляется «очевидный дрейф исследовательского интереса историка от изучения событий к изучению состояний. Именно в рамках этого дрейфа актуализировались такие проблемы, как этничность, религиозность, идентичность, гендер, имагологические исследования, история эмоций, исследования памяти и эйджинговые исследования, а также многие другие изыскания, маркирующие те или иные проявления индивидуальности и коллективности. <...> Изменившееся при этом отношение к документальности, проявившееся в снижении авторитета официальных документов, а с ними и авторитета государственных архивов, заточенных прежде всего на сохранение официальной истории, стало еще одним фактором, добавившим бонусов эго-терминологии. <...> „Расколдовывание” различных состояний и смыслов эго-документов изначально было делом всех членов гуманитарной семьи, превратив исследования авто-текстов в непременно междисциплинарные» [Суржикова 2014: 6–7].

Прицельная работа с эго-документами в качестве исторического источника сегодня намечает, в частности, возможность изучения переломных моментов истории из

антропологической и психолингвистической перспектив, с позиции персональной истории и истории идентичностей. Формируется и особое понятие эго-истории как самостоятельного предметного поля, возникновение которого связано с таким направлением мировой исторической науки, как устная история (*oral history*) [Румянцева 2014].

Важным направлением, демонстрирующим кардинальную переоценку субъективных свидетельств, является история памяти, в которой индивидуальная, поколенческая, коллективная и социальная память рассматриваются во взаимной связи. Как пишет Алейда Ассман, «индивидуальная память вмещает в себя гораздо больше, нежели содержание собственного неповторимого опыта; в человеке всегда совмещаются индивидуальная и коллективная память. <...> Воспоминания существуют не изолированно, они взаимосвязаны с воспоминаниями других людей. Структуре воспоминаний свойственны взаимоналожения, взаимные подхваты, а потому воспоминания подтверждают и упрочивают друг друга. Благодаря этому они приобретают не только согласованность и достоверность, но и объединяющую силу, способность формировать сообщества» [Ассман 2014: 19]. В частности, как подчеркивает эта немецкая исследовательница, «иную природу, нежели эмпирически верифицируемые факты», имеют исторические травмы, поскольку отличаются эмоциональной связью с идентичностью. И это порой вызывает неприятие данного понятия у историков-традиционалистов [Ассманн 2016: 186].

Важным оказалось использование эго-документов в имагологических исследованиях. Еще Ю.М. Лотман писал о необходимости подходить к источникам, содержащим высказывания иностранцев о России, как к «текстам, нуждающимся в дешифровке» и находить «в самих ошибках, в характере непонимания источник ценных сведений» [Лотман 1976: 677]. В последнее время число работ, посвященных этностереотипам, манифестирующим

себя в языке, фольклоре, художественной литературе, науке, общественной мысли, публицистике, а также проблемам национальной идентификации в сложных исторических ситуациях (отсутствия национальной государственности, функционирования диаспоральных сообществ и т. д.) и необходимости сохранять и транслировать свою идентичность в межкультурной коммуникации, противопоставляя «свое» «чужому» и активно конструируя образ Другого, значительно возросло. В качестве примера приведем изучение исторических представлений русских и поляков друг о друге. Опора подобных исследований на источники личного происхождения открывает перед исследователями новые горизонты. Так, работы польского этнолингвиста А. Невяры [Niewiara 2000; 2006] — пример воссоздания образа русского в польском сознании на основе польской дневниковой и мемуарной литературы. При этом автор создает своего рода обобщенный образ, развивающийся на протяжении нескольких веков, который, по его мнению, свидетельствует о познавательном процессе, происходящем не только в умах отдельных людей, но и в культуре нации в целом. Благодаря этому работа лингвиста Невяры с эго-документами демонстрирует междисциплинарный подход — пограничье филологии и истории. В поле зрения автора — история «имени» — названия русских в польских эго-документах, ключевые понятия их собирательного портрета как «врага», «варвара», «азиата», «тирана», «язычника», а также этнографические черты, характеризующие мужчин и женщин, их одежду, еду, развлечения, музыку и песни и т. д. Однако сопоставляя тексты, созданные в разные исторические эпохи (с XVI по XX в.) и объединяя их в единое семантическое поле, автор не избегает упрощений. Выводы, сделанные относительно портрета русского, типичного для польского обыденного, повседневного дискурса, скорее говорят о его имманентных чертах, чем о его развитии в ходе взаимодействия двух народов на протяжении разных эпох.

Автор же данной статьи, также используя мемуары, дневники и переписку как текст культуры, несущий информацию в том числе о национальной ментальности, национальных предубеждениях и стереотипах, сосредоточен на конкретной эпохе, на изучении жизни российской колонии в конституционном Королевстве Польском [Филатова 2008] и взаимодействии русских с местным населением, а также на сравнении интерпретаций русскими и поляками фактов и событий совместной истории первой трети XIX в. [Филатова 2015; 2016]. И здесь обнаруживается особый потенциал эго-документов, важный для историка. С одной стороны, они часто повторяют те же самые оценки и комментарии, тиражируя общепринятые стереотипы (например, о «московском варварстве» или «ложном и неуместном патриотизме» поляков и их «политическом безрассудстве»). С другой — источники личного происхождения связаны с повседневностью, с сугубо личным опытом и отражают спонтанную индивидуальную реакцию на увиденное и пережитое. Поэтому выводы относительно взаимного восприятия народов, сделанные на основе эго-документов, неизбежно будут иными, чем при анализе, скажем, текстов официальной культуры или же художественной литературы, оперирующими подчас определенными схемами и клише в соответствии с жанровым своеобразием и «памятью жанра».

В частности, мемуары и дневники, в которых отражен опыт личного общения русских и поляков в Королевстве Польском, позволяют затронуть область исторической психологии. Только эго-документы способны продемонстрировать широкую палитру эмоций, оценок, мнений, связанных с межнациональным общением, и выявить среди них преобладающие. Обращение к эго-документам дает возможность увидеть общее и переменное в восприятии исторических событий; на основе этого типа текстов возможен анализ языка описания истории — путем вычленения используемых авторами воспоминаний лексики,

образов и метафор. Пути реконструкции пережитого прошлого отражают сложившуюся в национальном сознании «картину истории» с ее мифами и легендами. Использование эго-документов дает историку возможность также реконструировать (на основе привлечения целого корпуса однотипных свидетельств) отражение в индивидуальном сознании современников ключевых общественных, политических событий, и, что особенно важно — сравнить реакцию на одни и те же события представителей разных национальностей. Так на первый план выводится не столько запечатление исторических событий, сколько их ощущение. Сопоставление «взглядов с двух сторон» (в частности, на коронацию Николая I в Варшаве или польское национально-освободительное восстание 1830–1831 гг.) выводит историка на уровень *транснациональной*, или *взаимосвязанной* истории, преодолевающей рамки, заданные национальными нарративами [Ауст, Вульпиус, Миллер 2010: 7].

Как пишет Л. П. Репина, «образы индивидуальной памяти всегда гораздо богаче, чем более схематичные коллективные образы» [Репина 2011: 431]. Это подтверждает, в частности, исследование польского историка А. Неуважного, который сознательно ограничил источниковую базу своей статьи «Москали глазами ляхов» личными свидетельствами участников войны 1812 г. Проанализировав 40 таких свидетельств, он пришел к выводу, что личный опыт может и должен быть самостоятельным предметом исследования. Результаты, полученные Неуважным, противоречат идеологическим клише, запечатлевшимся в польской патриотической поэзии или же воинственной политической публицистике того времени [Nieuważny 2002].

Таким образом, субъективность эго-документов начинает рассматриваться и историками как самостоятельная ценность. Перспективы, которые открывает перед профессиональным сообществом историков исследование эго-документов в новом, современном русле, с использо-

ванием методов, общих с филологической наукой, ширики и, безусловно, связаны с развитием междисциплинарности в гуманитарной науке.

Литература

- 1812 год...: Военные дневники / Сост. и вступ. ст. А. Г. Тартаковского. М., 1990.
- Андреев Д.* Хрущевское детство, или Пять причин прочитать воспоминания Виталия Третьякова // Родина. 2014. № 2.
- Ассман А.* Длинная тень прошлого. Мемориальная культура и историческая политика / Пер. с немецкого Б. Хлебникова. М., 2014.
- Ассманн А.* Новое недовольство мемориальной культурой / Пер. с немецкого Б. Хлебникова. М., 2016.
- Ауст М., Вульпиус Р., Миллер А.* Предисловие. Роль трансферов в формировании образа и функционировании Российской империи (1700–1917) // Imperium inter pares: Роль трансферов в истории Российской империи (1700–1917) / Ред. М. Ауст, Р. Вульпиус, А. Миллер. М., 2010.
- Бенн С.* Одежды Клио. М., 2011.
- Вульф В.* Серебряный шар: Преодоление себя. Драммы за сценой. М., 2003.
- Гуревич А. Я.* Культура и общество средневековой Европы глазами современников. Exempla, XIII в. М., 1989.
- Доманска Э.* Философия истории после постмодернизма. Интервью с Х. Уайтом, Ф. Анкерсмитом, Е. Топольски, Й. Рюзенном и др. М., 2010.
- Зарецкий Ю. П.* Свидетельства о себе „маленьких“ людей: новые исследования голландских историков // Социальная история. Ежегодник. 2008 / Отв. ред. Н. Л. Пушкарева. СПб., 2008. Режим доступа: http://visantrop.rsuh.ru/article.html?id=1167089#_ftn1.
- Зарецкий Ю. П.* Теория литературных жанров и некоторые вопросы исторического изучения автобиографических текстов // Новый образ исторической науки в век глобализации и информатизации / Под ред. Л. П. Репиной. М., 2005.
- Зарецкий Ю. П.* Новые подходы к изучению свидетельств о себе в европейских исследованиях последних лет // Автор и биография, письмо и чтение / Науч. ред. Ю. П. Зарецкий. М., 2013.
- Зарецкий Ю. П.* Стратегии понимания прошлого: теория, история, историография. М., 2011.
- Зарецкий Ю. П.* История субъективности и история автобиографии: Важные обновления // Субъект и культура / Отв. ред. В. Н. Порус. СПб., 2014.
- История в эго-документах: Исследования и источники / Отв. ред. Н. В. Суржикова. Екатеринбург, 2014.

== Подходы к изучению эго-документов в современной исторической науке... ==

История субъективности: Средневековая Европа / Сост. Ю. П. Зарецкий. М., 2009.

История субъективности: Древняя Русь / Сост. Ю. П. Зарецкий. М., 2010.

Лотман Ю. М. К вопросу об источниковедческом значении высказываний иностранцев о России (1976) // Лотман Ю. М. История и типология русской культуры. СПб., 2002.

Лотман Ю. М., Успенский Б. А. «Письма русского путешественника» Карамзина и их место в развитии русской культуры (1984) // Лотман Ю. М. Карамзин. СПб., 1997.

Лотман Ю. М. Сотворение Карамзина // Лотман Ю. М. Карамзин. СПб., 1997.

Лубский А. В. Лингвистический поворот в историческом познании // Теория и методология исторической науки: Терминологический словарь / Отв. ред. А. О. Чубарьян. [М.], 2014.

Мегилл А. Историческая эпистемология. М., 2009.

Михеев М. Ю. Дневник как эго-текст (Россия, XIX–XX вв.). М., 2007.

Потапова Н. Д. Лингвистический поворот в историографии: учебное пособие. СПб., 2015.

Репина Л. П. «Персональная история»: биография как средство исторического познания // Казус. Индивидуальное и уникальное в истории. 1999. М., 1999.

Репина Л. П. Вместо предисловия // Диалог со временем: Альманах интеллектуальной истории. Вып. 5: Историческая биография и интеллектуальная история. М., 2001.

Репина Л. П. «Постмодернистский вызов» и перспективы новой культурной и интеллектуальной истории // Репина Л. П. «Новая историческая наука» и социальная история. Изд. 2, испр. и доп. М., 2009.

Репина Л. П. Историческая наука на рубеже XX–XXI вв.: Социальные теории и историографическая практика. М., 2011.

Рикёр П. Память, история, забвение. М., 2004.

Россия и российская эмиграция в воспоминаниях и дневниках. Russia and the Russian Emigration in Memoirs and Diaries: аннотированный указатель книг, журнальных и газетных публикаций, изданных за рубежом в 1917–1991 гг. В 4 т. / Сост. Т. Г. Анохина и др.; науч. рук., ред. и введ. А. Г. Тартаковского, Т. Эммонса, О. В. Будницкого. М., 2003.

Россия 1917 года в эго-документах: Воспоминания / авт.-сост. Н. В. Суржикова, М. И. Вебер и др.; научн. ред. Н. В. Суржикова. М., 2015.

Румянцева М. Ф. Эго-история и эго-источники: соотношение понятий // История в эго-документах: Исследования и источники / Отв. ред. Н. В. Суржикова. Екатеринбург, 2014.

Софронова Л. А. «Записки» Яна Хризостома Пасека: дневник, роман, энциклопедия. М., 2014.

Суржикова Н. В. Эго-документы: интеллектуальная мода или осознанная необходимость? (Вместо предисловия) // История в эго-доку-

ментах: Исследования и источники / Отв. ред. Н. В. Суржикова. Екатеринбург, 2014.

Тартаковский А. Г. 1812 год и русская мемуаристика: опыт источниковедческого изучения. М., 1980.

Тартаковский А. Г. Русская мемуаристика XVIII — первой половины XIX в. От рукописи к книге. М., 1991.

Тартаковский А. Г. Русская мемуаристика и историческое сознание XIX века. М., 1997.

Уайт Х. Метаистория. Историческое воображение в Европе XIX века. Екатеринбург, 2002.

Филатова Н. М. Взаимоотношения русских и поляков в Королевстве Польском в 1815–1830 гг. (на материале мемуаристики) // *Stosunki polsko-rosyjskie. Stereotypy, realia, nadzieje* / Pod red. J. Marszałek-Kawu, Z. Karpusa. Toruń, 2008.

Филатова Н. М. Варшавская коронация Николая I в 1829 г.: русский и польский взгляды // *Романовы в дороге: путешествия и поездки членов царской семьи по России и за границу* / Отв. ред. О. В. Хаванова, М. В. Лескинен. М.; СПб., 2015.

Филатова Н. М. Польское восстание 1830–1831 гг. под пером современников (о языке описания социальных потрясений) // *Категория взрыва и текст славянской культуры* / Отв. ред. Н. В. Злыднева. М., 2016.

Эго-документальное наследие российской провинции XVIII–XXI вв. Проблемы выявления, хранения, изучения, публикации / Отв. ред. Т. И. Любина. Тверь, 2014.

Nieuważny A. Moskale w oczach Lachów // *Mówią wieki. Kampania rosyjska Napoleona. Ów rok 1812. Numer specjalny.* Warszawa, 2002.

Niewiara A. Wyobrażenia o narodach w pamiętnikach i dziennikach z XVI–XIX wieku. Katowice, 2000.

Niewiara A. Moskwicin-Moskal-Rosjanin w dokumentach prywatnych. Portret. Łódź, 2006.

White H. Metahistory. The Historical Imagination in Nineteenth-Century Europe. Baltimore; London, 1973.

White H. Proza historyczna / Pod red. E. Domańskiej. Kraków, 2009.

White H. Poetyka pisarstwa historycznego / Pod red. E. Domańskiej i M. Wilczyńskiego. Kraków, 2010.